

Мой  
любимый  
гений

Ты  
Саломе

Мой Ницше,  
мой Фрейд...

Мой любимый гений

Лу Саломе

**Мой Ницше, мой  
Фрейд... (сборник)**

«Алисторус»

УДК 82-94  
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

## **Саломе Л.**

Мой Ницше, мой Фрейд... (сборник) / Л. Саломе —  
«Алисторус», — (Мой любимый гений)

ISBN 978-5-906842-53-4

Лу Андреас-Саломе (1861–1937) – одной из самых загадочных женщин конца тысячелетия. Автор нашумевшего трактата «Эротика», она вдохновила Ницше на создание его «Заратустры», раскачала маятник творчества раннего Рильке, оказалась идеальным собеседником для зрелого Фрейда. «Сивилла нашего духовного мира», по мнению одних, «жадная губка, охочая до лучистых ежей эпохи», по отзывам других, Лу Саломе «словно испытывала на эластичность границу между мужским и женским началом... Она отважно режиссировала свою судьбу, но тень роковой душевной бесприютности следовала за ней по пятам». Кто же она? Кем были для нее Ницше, Рильке и Фрейд? Об этом она поведаст вам сама. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 82-94  
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-906842-53-4

© Саломе Л.  
© Алисторус

## Содержание

Прожито и пережито	6
Переживание Бога	6
Переживание любви	14
Переживания в семье	21
Конец ознакомительного фрагмента.	23

# **Лу Саломе**

## **Мой Ницше, мой Фрейд...**

© ООО «ТД Алгоритм», 2016

\* \* \*

## Прожито и пережито

### Переживание Бога

Примечательно, что о самом первом нашем переживании мы ничего не помним. Только что мы были всем, чем-то единым, неотделимым от чьей-то жизни – но вот что-то заставило нас появиться на свет, стать крохотной частичкой бытия, которая будет отныне стремиться к тому, чтобы не попасть в набирающий силу водоворот уничтожения, утвердить себя во все шире открывающемся перед ней мире, куда она сорвалась из своей переполненности, как в жаждущую поживиться за ее счет пустоту.

Точно так же воспринимаешь поначалу и прошлое: настоящее не хочет впускать в себя воспоминания о былом; первое «воспоминание» – так мы назовем это немного позднее – это одновременно и шок, разочарование, вызванное утратой того, чего больше нет, и нечто от живущего в нас знания, уверенности, что это еще могло бы быть.

В этом – проблема самого раннего детства, прадетства. Но в этом же и проблема всего первобытного человечества: в нем, как стойкое предание о неизбывной сопричастности всемогущему началу, продолжает жить – наряду с набирающим силу осознанием житейского опыта – чувство единородства с мировым целым. Первобытное человечество умело с такой убедительностью поддерживать в себе эту веру, что весь видимый мир казался подчиненным доступной человеку магии. Люди издавна хранят это неверие во всемогущество внешнего мира, который они когда-то отождествляли с собственным существованием; они издавна перекрывали возникшую в их сознании пропасть с помощью фантазии – уподоблять этому все больше и больше осваиваемому внешнему миру. Этот мир над собой и рядом с собой, эту рожденную фантазией копию, призванную затушевать сомнительность земного существования, человек назвал своей религией.

Поэтому может случиться так, что ребенок и сегодняшнего, и завтрашнего дня – если он растет в непринужденной религиозной атмосфере родительского дома – будет непроизвольно вбирать в себя как религиозные верования, так и то, что объективно воспринимается органами чувств. Именно в раннем детстве, когда только начинает складываться способность дифференцированно воспринимать мир, для ребенка нет ничего невозможного, самое невероятное он может принимать за действительность; любые преувеличения назначают себе магическое свидание в голове человека и кажутся вполне естественными предположениями, пока он окончательно не привыкнет к посредственности и неадекватности реальной жизни.

Не следует думать, что ребенок, лишенный религиозного воспитания, избежит подобных переживаний раннего детства; в этом возрасте он всегда реагирует, исходя из своих преувеличенных представлений о мире, это происходит вследствие еще недостаточного дара различения и оттого неконтролируемых желаний. Ведь чувство единородства со всем сущим не исчезает в детстве из наших представлений о мире бесследно, от него на наших первых привязанностях и первых возмущениях остается как бы флер просветленности, искаженной связи со сверхъестественным, еще сохранившейся абсолютной всеохватности. Можно даже сказать так: когда обстоятельства нашей жизни – сегодняшней или, например, завтрашней – лишают ребенка этого чувства и неизбежно сопутствующих ему разочарований, то опасаться следует, скорее, того, что естественная склонность к фантазированию, которая значительно опережает пробуждение рассудительности, разрастется до неестественно больших размеров и когда-нибудь обернется пугающими искажениями реальной действительности, и что она тем самым, под таким дополнительным напором, напрочь лишится объективных критериев оценки.

К этому, однако, следует добавить, что у нормального ребенка чрезмерное «религиозное» воспитание естественным образом уступает место растущему физическому восприятию действительности – точно так же как вера в существование сказочного мира уступает место жгучему интересу к проблемам мира реального. Если этого не происходит, то чаще всего имеет место задержка в развитии, несоответствие между тем, что сближает человека с жизнью, и тем, что стоит на пути этого сближения...

С нашим рождением возникает трещина между двумя мирами, разделяющая два вида существования, и это делает весьма желательным наличие посреднической инстанции. В моем случае то и дело возникавшие детские конфликты говорили, должно быть, о своего рода соскальзывании из уже усвоенной манеры судить о мире обратно в фантазирование, когда родители и родительский взгляд на мир, так сказать, отбрасываются (почти предаются) ради куда более всеобъемлющей защищенности, ради того, что не только давало ощущение принадлежности к еще более могущественной силе, но и наделяло частью своего всевластия, даже всемогущества.

Образно говоря, ты как бы пересаживаешься с колен родителей, откуда время от времени приходится соскальзывать, на колени Бога – словно на колени к дедушке, который еще больше тебя балует и ни в чем тебе не перечит, который осыпает тебя подарками, и оттого кажешься себе такой же всеильной, как и он сам, хотя и не такой «доброй»; в нем как бы соединяются оба родителя: тепло материнского лона и полнота отцовской власти. (Отделять и отличать одно от другого как сферу власти и сферу любви означает уже появление громадной трещины в благополучии, так сказать, безмятежно-допотопного существования.)

Но что же вообще вызывает в человеке эту способность принимать фантазии за действительность? Да только все еще сохраняющаяся неспособность ограничиваться внешним миром, лежащим вне нашего «Мы» (с прописной буквы!), миром, наличие которого мы и не предполагали, неспособность признать вполне реальным то, что не включает в себя нас.

Наверняка это одна из главных причин того, почему меня на удивление мало волновало полнейшее отсутствие этой третьей силы, превосходящей все остальные, у родителей, которые в конечном счете тоже воспринимают все только благодаря ей. Так происходит со всеми истинно верующими, принимающими вымысел за реальность. В моем случае к этому добавлялось еще одно побочное обстоятельство: странная история с нашими зеркалами. Когда я гляделась в них, меня приводило в некоторое замешательство то, что в них я была только тем, что я видела: чем-то строго очерченным, сдавленным со всех сторон, готовым раствориться среди других предметов, даже лежащих рядом. Если я не смотрелась в зеркало, это впечатление не было столь навязчивым, но меня каким-то образом не покидало чувство, что я уже не частичка всего и вся, что я, лишившись этой сопричастности целому, стала бездомной. Это выглядит довольно ненормальным, так как мне кажется, что я и позже как будто бы сталкивалась временами с ощущением, когда отражение в зеркале выражает заинтересованное отношение к собственному образу. Во всяком случае, детские представления такого рода привели к тому, что как вездесущность, так и невидимость Бога не вызывали во мне абсолютно никакого возмущения.

Ясно, однако, что образ Бога, составленный из столь ранних впечатлений, довольно быстро забывается, гораздо быстрее, чем возникший при содействии разума, рассудка; так наши дедушки умирают, как правило, раньше более жизнеспособных родителей.

Один маленький эпизод детства делает понятным метод, которым я пользовалась, чтобы избежать сомнений: я внушила себе, что в шикарном пакете-хлопушке, который папа принес мне с какого-то придворного праздника, находятся золотые платица; когда же мне объяснили, что там всего лишь платица из папиросной бумаги с позолоченными краями, я не стала его открывать. Таким образом для меня в хлопушке остались золотые платица.

Подарки моего бога – дедушки – тоже не было нужды осматривать, они казались мне бесконечно дорогими и щедрыми, в этом я была не просто уверена, я была абсолютно уверена, потому что получала их не за хорошее поведение, как прочие подарки, которые в день моего рождения красиво раскладывали на столе в знак того, что я хорошо себя вела или должна была так себя вести. Мне случалось часто бывать «плохим» ребенком, приходилось даже отведать березовой каши – и я не упускала случая демонстративно пожаловаться доброму Боженьке. Он был целиком на моей стороне и приходил в такую ярость, что я иногда в приступе великодушия (такое бывало не так уж часто) уговаривала его угостить этой самой «кашей» моих родителей.

Разумеется, моя страсть к выдумкам затрагивала и ближайшее окружение, нередко к реальным событиям я присочиняла фантастические истории, которые мне чаще всего прощали со снисходительной улыбкой. Но однажды летом, когда мы с родственницей, которая была чуть старше меня, вернулись с прогулки и нас спросили: «Ну-ка, путешественницы, рассказывайте, что видели?», я, недолго думая, сочинила настоящую драму. Моя простодушная спутница, подетски искренняя и правдивая, была поражена, смотрела на меня ничего не понимающими глазами и время от времени громко и испуганно вскрикивала: «Но ты же врешь!».

Мне кажется, с тех пор я старалась быть в своих рассказах как можно точнее, то есть не присочиняла ничего лишнего, хотя эта вынужденная скупость огорчала меня до крайности.

Однако по ночам, в темноте, я рассказывала доброму Боженьке не только о себе, я, не чинясь, рассказывала ему целые истории, хотя меня об этом никто не просил. Эти истории – особая статья. Они были следствием жившей во мне потребности мысленно представлять рядом с Богом и весь тот мир, который существовал наряду с нашим тайным миром; это отвлекало меня от действительности, я как бы забывала, что сама являюсь ее частью. Не случайно материал для своих историй я черпала из реальных встреч с людьми, животными или предметами; сказочный элемент был уже в достаточной мере обеспечен «присутствием» Бога-слушателя, лишний раз подчеркивать это не имело смысла. Напротив, речь именно о том и шла, чтобы убедить себя в существовании этого реального мира. Правда, я вряд ли могла рассказать о чем-нибудь таком, что было бы неизвестно всеведущему и всемогущему Богу; но именно это придавало моим рассказам несомненную достоверность, и я не без удовлетворения начинала каждую историю словами: «Как Ты уже знаешь...».

О внезапном конце этой моей рискованной склонности к фантазиям я снова вспомнила во всех подробностях значительно позже, уже почти в пожилом возрасте; он описан в небольшом рассказе «Час без Бога». Рассказ этот ослаблен тем обстоятельством, что ребенок в нем помещен в чужую среду, в условия, отличные от существовавших в действительности – потому, должно быть, что для изображения сокровеннейших сторон жизни мне все еще была нужна небольшая внешняя дистанция. На самом же деле произошло вот что. Батрак, который зимой доставлял из нашей деревенской усадьбы в городскую квартиру свежие яйца, рассказал мне, что у маленькой избушки посреди сада, которая принадлежала мне одной, стояла «парочка» и просила разрешения войти туда, но он не позволил. Когда батрак снова появился у нас, я тотчас же спросила его о парочке, так как я беспокоилась, что все это время она мерзла и голодала. «Куда эти люди делись?» – спросила я. «Они никуда не ушли», – ответил он. «Значит, все еще стоят возле избушки?» – «Не совсем так: они постепенно изменялись, становились все тоньше и меньше, пока не исчезли совершенно; когда я однажды утром подметал около избушки, то нашел только черные пуговицы от белого пальто женщины, а от мужчины осталась только помятая шляпа, но место, где они стояли, было усеяно их слезами, превратившимися в ледышки».

Непостижимым и мучительным в этой страшной сказке было для меня не сострадание к парочке, а загадка бренности бесспорно сущего, его готовности бесследно растаять: словно что-то не давало мне приблизиться к бесхитростной, лежащей на поверхности разгадке, хотя



все во мне настойчиво и страстно требовало ответа. По всей вероятности, той же ночью я обратилась со своим вопросом к Богу.

Обычно я не призывала его к ответу, он только выслушивал от меня то, что уже было ему известно. Я и на этот раз просила у него совсем о малости: невидимые уста должны были произнести только несколько слов: «Снежный человек и снежная баба». То, что он не согласился сделать даже этого, было для меня катастрофой. И это была не только моя личная катастрофа: она как бы раздвинула занавес и показала нечто невообразимо жуткое, притаившееся за этим занавесом. Бог, нарисованный на занавесе, скрылся не только от меня одной – он вообще исчез из Вселенной.

Когда с живым человеком происходит нечто подобное, то, что его разочаровывает и заставляет по-новому взглянуть на мир, когда мы чувствуем себя покинутыми и обманутыми, остается возможность каким-нибудь образом сориентироваться в той же самой реальности, исправить дефект зрения, искажавший картину мира. Нечто подобное позже или раньше происходит с каждым человеком, с каждым ребенком, возникает трещина между желаемым и сущим – зловредная или целительная, на опыте это различие несущественное. Но в случае с Богом оно становится существенным и проявляется в том, например, что с исчезновением веры в Бога ни в коей мере не рушится вытекающая из нее способность веры как таковая, веры в ирреальные силы вообще. Мне вспоминается момент, имевший место во время обычного у нас в доме молебна, когда упоминалось имя дьявола или дьявольского наваждения. Это буквально вырывало меня из сонного состояния: а существует ли он еще? Он ли виноват в том, что я выпала из Божьего лона, где мне было так хорошо и уютно? И если виноват он, то почему я совсем не сопротивлялась? Не оказала ли я тем самым ему содействие?

Пытаясь подобным образом истолковать мимолетный и в то же время крепко засевший в моей памяти миг, я хочу, чтобы в нем зазвучала одна нота – не совинности в утрате Бога, а своего рода соучастия, предчувствия того, что должно было произойти. Поразительная незначительность повода, заставившего меня подвергнуть испытанию Господа Бога, делала просто невероятным, что я сама не дошла до разгадки, сама не догадалась, что речь шла о снежных фигурах, которые так любят лепить именно детские руки.

Открывшееся мне представление об ужасной пустоте не сыграло сколько-нибудь заметной роли в моем детстве: оно лишь несколько мешало освоиться в «обезвоженном» реальном мире.

Довольно странным образом утрата веры в Бога дала неожиданный результат морального свойства: я стала во многом послушнее, воспитаннее; безбожие не сделало меня хуже – потому, вероятно, что подавленное состояние угнетающе действует на всякого рода непокорность. Но это произошло и по другой, положительной причине: из неизбежного сочувствия моим родителям, которым, видимо, не только я одна доставляла неприятности нравственного характера, после того как они, подобно мне, тоже потерпели поражение – и они утратили Бога, только не знали об этом...

Правда, одно время я пыталась изменить положение дел, пыталась подражать верующим родителям, ведь все, что я до сих пор знала, было воспринято от них, через них я убеждалась в реальности сущего. По вечерам я робко складывала на груди руки и, словно сиротка, безутешно и смиренно зывала из своего крайнего одиночества к тем, кто был от меня невообразимо далеко. Однако мне так и не удалось сблизиться с этими вроде бы далекими от меня людьми благодаря непосредственно испытанной, привычной близости к Богу; при всем своем смирении я ощущала мощное притяжение к чему-то иному, безучастному, чужому, и эта подмена только усиливала одиночество и вызывала стыдливое чувство, что я заблуждаюсь и отягощаю своими проблемами непосвященных.

Между тем я снова начала рассказывать себе по ночам свои истории. Как и прежде, я брала их из обыденной жизни, из повседневных встреч и событий, хотя и в них произошла

решительная перемена из-за отсутствия слушателя. Как я ни старалась разукрасить их как можно ярче или найти наилучший поворот в судьбах персонажей, они все хуже удавались мне. Было видно, что они, перед тем как я их рассказывала, не побывали в ласковых Божьих руках, не вручались мне как подарок из его больших карманов – санкционированные и легитимные. Да и вообще, уверена ли я была в их правдивости с тех пор, как перестала начинать их исключаящими любые сомнения словами: «Как Ты уже знаешь...»? Они стали беспокоить меня, в чем я никому не признавалась, казались мне беззащитными, брошенными в полную непредвиденных опасностей жизнь, откуда я их и позаимствовала. Я припоминаю – к тому же мне об этом рассказывали, – как во время тяжелого заболевания корью меня в горячке мучили кошмарные видения: будто я предала множество персонажей своих историй, оставила их без крова и куска хлеба. Ведь об их существовании никто, кроме меня, не знал, ничто не могло избавить их от беспомощных блужданий, вернуть домой, туда, где они могли спокойно обитать, все без исключения, во множестве своих неповторимых обликов, количество которых могло еще многократно возрасть, пока – я в этом не сомневалась – на свете не осталось бы ничего, что не стремилось бы домой, к Богу. Должно быть, это настраивало меня на столь легкомысленный лад, что я нередко опиралась одновременно на самые разные внешние впечатления: таким способом я могла соединить в одной личности встретившихся мне школьника и старика, пробивающийся росток и раскидистое дерево, как будто все они были частями единого целого. Так продолжалось и дальше, хотя подобное суммирование разнообразного материала постепенно начало изрядно отягощать мою память, и я научилась ориентироваться в этой пустой сети взаимосвязанных нитей с помощью подчеркиваний, узелков на память, ключевых слов. (Должно быть, позже, когда я работала над книгами своих рассказов, что-то от этой привычки появлялось снова, как попытка временно удержать то, что выходило далеко за пределы непосредственного содержания, то есть действительно как паллиатив).

Заботливое отношение к персонажам моих историй ни в коем случае нельзя воспринимать так, будто это было нечто похожее на материнскую заботу, вполне естественную для маленькой девочки. Не я, а мой брат, который был на три года старше меня, укладывал после наших игр кукол в постель и отводил игрушечных животных в их стойла. Мне они уже были неинтересны, поскольку свое дело сделали, послужили поводом для игры. Станным образом мне при этом казалось, что фантазия у моего брата значительно богаче, нежели у меня.

О своем «переживании Бога» я старалась не особенно распространяться даже с подружками-сверстницами, так как не была до конца уверена, что и они могут вспомнить о чем-нибудь подобном (среди них была одна моя родственница, тоже, подобно нам, французско-немецкого происхождения, только по материнской линии, ее сестра позже вышла замуж за моего второго брата). Но с годами об этих «встречах» забыла и я. И, помнится, очень удивилась, наткнувшись однажды случайно на листок старой, потрескавшейся бумаги со стихами, которые я нацарапала когда-то в Финляндии, в белые ночи, залитые магическим светом, в пору летнего солнцестояния:

О всеблагих небес шатер,  
Избави от напасти  
Пускай не омрачат мой взор  
Вовек земные страсти.  
Собой ты волен укрывать  
Весь мир, подвластный Богу.  
О, как найти к тебе опять  
Заветную дорогу?  
Я не зову желаний рой  
И не страшусь борений;

Лишь место дай, чтоб под тобой  
Мне преклонить колени.

Когда я перечитала стихотворение, оно показалось мне чужим, я даже с тщеславной деловитостью оценила его достоинства и недостатки. Однако с тех пор точно такое же настроение присутствовало во всех моих переживаниях и поступках, и вытекало оно отнюдь не из постепенного становления личности, не из обычного радостного или печального опыта; казалось, будто оно возникает из самого раннего недетского знания, из переживания заново того первоначального шока, который испытывают все люди на пороге сознательной жизни, и который накладывает глубокий отпечаток на все последующие годы.

Объяснить это только честным изложением автобиографических фактов нелегко. Может быть, тут лучше прибегнуть к помощи какой-нибудь конкретной детали. Как-то во время болезни я получила в подарок ларец с изречениями из Библии, по одному на каждую неделю, и они в течение года сменяли друг друга; когда пришла очередь изречения из Первого послания к Фессалоникийцам святого апостола Павла, я надолго запомнила эти слова: «Умоляем же вас, братия, более преуспевать. И усердно стараться потом, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками». Почему так случилось, я тогда вряд ли могла бы объяснить, должно быть, тут сыграло свою роль запоздалое воспоминание о том самом детском чувстве сиротства, раз ларчик до сих пор висит у меня только из-за этого изречения. Это совсем не по-детски звучащее изречение пережило все годы моего отчуждения от Бога не потому, что я не смогла избавиться от ларчика из-за родителей, а потому, что оно накрепко вошло в мое сердце. Последнее доказательство этому было дано уже после моего отъезда за границу, куда мне вместе с другими вещами переслали и ларец с изречениями; тогда же было отвергнуто и то изменение, которое, прослышав о ларце, предложил Ницше – заменить библейское изречение на гётевское: «Станем цельны мы сердцами, добрыми пойдем путями к верному спасенью!».

Его написанный от руки вариант и сегодня хранится за пожелтевшим печатным текстом изречения.

Слишком ранние детские впечатления, о которых я рассказала, могут показаться необычными и удивительными, так как они, вероятнее всего, связаны со сползанием в крайний инфантилизм или с желанием задержаться в нем; чересчур рано начавшееся общение с Богом так сильно противостояло одухотворенности этого процесса, что и распалось оно резче, с более разрушительными для духа последствиями, чем обычно бывает, – такое ощущение, будто ты снова народилась на свет и начинаешь заново, раз и навсегда, усваивать его трезвую реальность.

Когда мне исполнилось семнадцать лет, я в первый раз с живой непосредственностью вспомнила о ранних, прежних творениях веры под влиянием извне на занятиях у готовившего меня к конфирмации Германа Дальтона из реформаторской евангелической церкви. Что-то заставило меня встать на сторону давно поблекшего детского Бога, защитить его доказательства и поучения, в которых он тогда не нуждался.

Какое-то тайное благоговейное возмущение отвергало доказательства его существования, его прав, его ни с чем не сравнимого могущества и доброты; мне даже в какой-то мере было стыдно, что он вынужден удивленно и отчужденно выслушивать все это, затаившись в глубинах моего детства; тем самым я как бы выступала его представительницей.

Вопрос с конфирмацией разрешился следующим образом: заболел отец, и я, чтобы не волновать его своим выходом из лона церкви, поддалась на уговоры Дальтона и согласилась еще год готовиться к конфирмации. Но выход все же состоялся. И поступила я так вопреки голосу собственного рассудка, говорившего, что я совершаю куда большее зло, чем если бы мне пришлось чисто формально пройти обряд конфирмации: это не принесло бы нашей благочестивой семье горя и скорби. Решающую роль в этом сыграло не фанатическое правдолюбие, а инстинктивное, упрямое чувство, что я должна это сделать...

В моей жизни занятия наукой и другие поводы не раз приводили меня к философским и даже теологическим областям знания, которые привлекали меня сами по себе. Это никак не было связано с моим первоначально благочестивым складом характера или с последующим отходом от веры. Никогда интеллект не тревожил во мне прежнюю, старую набожность – она словно не решалась войти в мое «взрослое мышление». Поэтому все области философского знания, в том числе и теология, оставались для меня на уровне простого интеллектуального интереса; о соприкосновении или тем более смешении с тем, что входило в сферу душевной жизни, не могло быть и речи; я бы даже сказала, что это немедленно произвело бы на меня точно такое же впечатление, как и занятия с подтверждающимися. Я, правда, нередко одобряла то, как это делали другие, и даже восхищалась теми, кто подобными интеллектуальными путями приходил к такого рода замене – очень, очень взвешенной, одухотворенной – своего благочестивого прошлого и таким образом ухитрялся соединить это прошлое с порой духовной зрелости. Наверняка таким способом им удавалось усилием мысли лучше постигать самих себя, прочнее усваивать уроки жизни, чем это удалось мне; я никогда не могла говорить об этих уроках без замешательства. Мне это было настолько чуждо, что казалось, будто мы говорим о совершенно разных вещах и материях.

Тем не менее, сильнейшей притягательной силой, влекшей меня к людям, без остатка посвятившим себя подобным философским материям, были сами эти люди, неважно, живые или умершие. Как бы ни скрывали они свои воззрения, по ним было видно, что в каком-то глубинном смысле Бог остался их первым и последним переживанием во всем, что им пришлось испытать в жизни. Что еще могло сравниться с этим в качестве содержания жизни? Я никогда не переставала любить их – любовью, проникающей в самое сердце человека, туда, где, собственно, и решаются наши судьбоносные проблемы.

Но если бы кто-нибудь спросил меня – раз уж мне не удалось добиться равновесия между желанием и истиной, между сферой чувств и духовным познанием, равновесия, которое постепенно устанавливается в процессе развития как бы само собой, – как же и в чем тогда проявлялись во мне те самые ранние представления о вере, я бы совершенно искренне ответила на этот вопрос так: только в факте исчезновения Бога, и ни в чем другом. Как бы ни менялось все в мире и в жизни, в глубине глубин оставался неизменным факт богооставленности самой Вселенной. Именно чрезмерной детскостью предыдущих представлений о Боге, вероятно, объясняется то, что они не были заменены, восстановлены более поздними представлениями.

Но наряду с негативным результатом детского восприятия богооставленности был в этом и положительный момент: я решительно и бесповоротно столкнулась с окружающей меня реальной жизнью. Я уверена, что проникшие в мир моих чувств ложные представления о Боге только помешали бы этому, отвлекли в сторону, нанесли мне ущерб. Вся моя жизнь дает мне право утверждать это... При этом я готова признать, что многие в этой ситуации поступали совсем по-другому и добивались значительно большего, чем добилась я.

Следствием этого для меня было самое позитивное, что довелось испытать в жизни: проснувшееся в ту пору и никогда больше не покидавшее меня смутное ощущение безмерной и судьбоносной сопричастности всему, что существует. Именно ощущение, а не направленное на определенный объект «чувство»: не вызывающее сомнений ощущение равенства в вопросах судьбы; и касается оно не только людей, а готово объять собой даже космическую пыль. Поэтому оно навряд ли подвержено изменениям в масштабах, заданных человеческой жизнью, или же в масштабах оценочных критериев: будто и не существует больше ничего, что следовало бы оправдать, возвысить или принизить, кроме самого факта существования, его наличия – точно так же как невозможно умалить значение каждого через убийство, через уничтожение; можно только отказать ему в том последнем благоговении перед несокрушимостью собственного существования, которое он разделяет с нами, потому что, подобно нам, «существует».

Вот у меня и вырвалось слово, в котором при желании легко можно обнаружить остаток того запаса душевных сил, который сложился на основе ранних представлений о Боге. Потому что всю свою жизнь я не знала более естественного, произвольно возникающего желания, чем проявлять благоговение, казалось, любое другое отношение к чему-то или кому-то следовало лишь в некотором отдалении за благоговением. Для меня это слово – всего лишь другое название все той же судьбоносной взаимосвязанности всего сущего, на равных правах включающей в себя и самое великое, и самое малое. Или, другими словами: если что-то есть, оно несет в себе несокрушимость всего существования, представляя всю целокупность бытия. Разве мыслимо чувство пылкой сопричастности всему сущему без благоговения – пусть даже затаившегося в самых сокровенных, неведомых глубинах нашей внутренней жизни?

Но и то, о чем я здесь рассказываю, уже содержит в себе благоговение. Быть может, я только об этом и рассказываю, несмотря на множество других слов, которые говорят о самых разных вещах, нас окружающих, тогда как единственное и самое простое невысказанным затаилось глубоко внутри.

Противореча логике, я должна признать: лишись человечество благоговения, его место должна бы занять любая, даже самая абсурдная разновидность религиозного чувства.

## Переживание любви

В жизни каждого наступает момент, когда он пытается начать все сначала, как бы родиться заново: недаром период полового созревания называют вторым рождением. После уже достигнутого приспособления к действительности, к ее порядкам и оценочным критериям, которые легко подчиняют себе наш еще маленький интеллект, вдруг, с приближением телесной зрелости, в нас поднимается против всего этого такой яростный протест, что кажется, будто мир, в котором очутился ребенок – несведущий, никому не подчиняющийся, обуреваемый своими желаниями, – только-только начинает складываться.

Даже самое спокойное переживание способно породить волшебное чувство, будто мир возникает заново, а все, что мешает этому, кажется невероятным заблуждением. Поскольку мы не можем настоять на этом безумно смелом утверждении и в конце концов все же подчиняемся такому миру, каков он есть, то позже вся эта «романтика» застилает наш обращенный в прошлое взгляд меланхолической пеленой. Это напоминает лесное озеро в лунном сиянии или призрачно манящие руины, и тогда мы путаем то, что пульсирует в нашей душе, с излияниями чувства, сопряженного с каким-либо отрезком времени, непропорциональным и непродуктивным. На деле, однако, то, что мы несправедливо назвали «романтикой», вытекает из неразрушимого в нас, здорового, первобытного, из жизненной силы, которая одна способна тягаться с бытием вне нас, потому что составляет сердцевину ядра, в котором внешнее и внутреннее опираются на одно и то же основание.

Переходный период, ведущий к телесной зрелости и тем самым призванный вынести на себе основные конфликты и брожение, в то же время лучше всего приспособлен для того, чтобы в очередной раз уравновесить возникающие осложнения или трудности.

То же самое произошло и со мной, позволившей детским фантазиям и мечтательности излишне далеко вторгнуться в реальную жизнь. Их место занял человек во плоти: он – само воплощение реальности – встал не рядом с ними, а вобрал их в себя. Для вызванного им потрясения не существует более короткого обозначения, чем то, в котором соединилось для меня самое удивительное, казавшееся абсолютно невозможным, с изначально известным и давно ожидаемым, – «человек!» Ибо таким же изначально известным, потому что исполненным удивительных свойств, был для ребенка только добрый Боженька, в противоположность всему, что окружает и ограничивает нас, и именно поэтому он, собственно, не выступал «въяве». Здесь та же всеохватность и то же абсолютное превосходство были свойственны человеку. Но этот богочеловек был, кроме того, противником любых фантазий; как воспитатель, он настаивал на неограниченном и строгом развитии интеллекта, и я повиновалась ему с тем большей страстью, чем тяжелее давалась мне эта новая установка: ведь с помощью любовного дурмана, который придавал мне силы, я должна была освоиться в реальной жизни, которую он воплощал в себе, и с которой я до сих пор не могла справиться в одиночку.

Этот воспитатель и наставник, к которому я сначала наведывалась тайком, а затем ввела в дом, помог мне, наряду с прочим, настоять, чтобы именно он готовил меня для продолжения учебы в Цюрихе. Таким образом он, вопреки внешней строгости, стал для меня таким же великодушным дарителем, каким был когда-то мой божественный «дедушка», исполнявший все мои желания: повелителем и орудием в одно и то же время, руководителем и совратителем, исполнявшим мои сокровеннейшие желания. Как много было в нем от копии, двойника, тени Бога, выяснилось только тогда, когда я не смогла реально, по-человечески привести к завершению наши любовные отношения.

Во всяком случае, многое меня при этом оправдывало; не в последнюю очередь разница в возрасте, почти равная дистанции от последней одержимости до первого пробуждения, а также то обстоятельство, что мой друг был женат и имел двоих детей примерно моего возраста

(это меня не волновало отчасти только потому, что ведь Богу свойственно принадлежать всем людям, и это не мешает питать к нему очень личное чувство исключительной близости). Кроме того, моя детская непосредственность – результат свойственного уроженцам севера позднего физического развития – поначалу вынуждала его скрывать от меня, что он уже начал готовить заключение семейных уз между нами. Когда в решающий момент от меня потребовалось спуститься с небес на землю, я отказалась повиноваться. То, чему я поклонялась, разом ушло из сердца и головы, стало чужим. Нечто, выдвинувшее собственные требования, нечто, не только принесшее исполнение моих требований, но, напротив, им угрожавшее, возжелавшее обойти стороной намеченный им же прямой путь, ведущий ко мне самой, и заставить меня служить сути другого, молниеносно устранило для меня этого другого. На деле за всем этим стоял другой человек, которого за пеленой обожествления я не смогла узнать как следует. И все же это мое обожествление сослужило мне хорошую службу, так как до этого момента он был тем человеком, которого мне не доставало для того, чтобы я могла разобраться в самой себе. Это в принципе с самого начала имевшее место двойственное отношение к нему выразилось в забавном факте: я, несмотря на наши нежные отношения, до последнего момента обращалась к нему на «вы», хотя он говорил мне «ты»; с тех пор в моем обращении на «вы» звучала интимная нота, а обращению на «ты» я придавала куда меньшее значение.

Мой друг служил в голландской миссии; со времен Петра Великого имелась большая голландская колония, и так как надо было приводить к присяге матросов, при миссии держали и священнослужителя; в часовне на Невском проспекте велись проповеди не только для немцев, но и для голландцев. Поскольку занятия со мной отнимали у моего друга очень много времени, иногда случалось так, что проповедь для него приходилось составлять мне; тогда-то уж я обязательно шла в церковь, горя нетерпением узнать, в достаточной ли мере были захвачены слушатели (мой друг был первоклассным оратором). Вскоре это прекратилось, так как однажды я настолько увлеклась творчеством, что вместо библейского изречения выбрала в качестве эпиграфа слова «имя – звук пустой» из «Фауста» Гёте; друг получил выговор от посланника и не преминул выразить мне свое недовольство.

Как симпатичная страна, в которой церковь полностью отделена от государства, Голландия позволила мне еще и по-другому воспользоваться теологическими полномочиями моего друга. Перед моим отъездом в Цюрих я из-за своего выхода из церкви не могла получить у русских властей паспорт. Тогда он предложил выхлопотать свидетельство о конфирмации в голландской деревушке, где служил пастором его приятель. Мы оба разволновались во время этого странного торжества, которое было устроено точно по моим указаниям и произошло в чудеснейшем месяце мае, в обычный воскресный день, в присутствии окрестных крестьян: ведь нам предстояла разлука, которой я смертельно боялась. Мама, которая ездила туда с нами, к счастью, не понимала ни слова в богохульном голландском и не уразумела заключительных слов благословения, очень напоминавших слова, которые произносят при бракосочетании: «Не бойся, я выбрал тебя, я позвал тебя по имени; ты принадлежишь мне». (Мое имя – Лу – и в самом деле дал мне он, так как был не в состоянии произнести русское «Леся» или «Ляля»).

Неожиданный оборот, который приняла тогда моя первая любовная история, был десять лет спустя использован мной в рассказе «Руфь», который в известной степени был искажен тем обстоятельством, что у него отсутствовала предпосылка: благочестивая предыстория, тайные остатки идентичности между отношением к Богу и любовью. Любимый человек исчез из сферы обожания так же быстро, как бесследно исчез и Господь Бог. Из-за того, что отсутствовало это сопоставление, а вместе с ним и более глубокий фон, образ Руфи окрасился в романтические тона, вместо того чтобы основываться на характере девушки с не совсем нормальным, заторможенным развитием. Но именно вследствие этой задержки в развитии так и не доведенная до логического завершения любовная история сохранила для меня неповторимое, ни с чем не сравнимое очарование, неопровержимость, не нуждавшуюся в испытании жизнью.

Поэтому внезапный разрыв, в противоположность горю и унынию после сходной утраты Бога в детстве, стал шагом к радости и свободе – и одновременно к сохранению внутренней связи с этим первым человеком из реальной жизни, чьи воля и наставления помогли мне обрести себя, научиться жить полноценной жизнью.

Если исход этих событий содержит уже достаточно признаков отступления от нормального развития, связанных с не совсем обычным созреванием в пору детства, то в еще большей степени это касается физического развития, не всегда совпадавшего с духовным. Тело откликнулось на возникший в нем эротический импульс, но душа не вобрала его в себя, не уравновесила. Предоставленное самому себе, тело не устояло перед болезнью (легочное кровотечение), из-за чего меня из Цюриха отправили на юг; позже я увидела тут аналогию с поведением животных, когда, например, собака подышает с голоду на могиле своего хозяина и не в состоянии понять, почему она не ощущает влечения к пище. Физиология человека не допускает такого рода верности, хотя мы и не прочь помыслить об этом.

Что до меня самой, то после расставания я не только ощутила неизъяснимую благодать, но и перестала беспокоиться о своем здоровье, которому угрожала опасность; меня это как бы не касалось, поскольку находилось за пределами моей растущей жизнерадостности. Более того, можно говорить даже о примеси озорства, так как среди многих любовных стихов, типичных для этого возраста и воспевающих жизнь, встречаются почти лукавые нотки, как, например, в стихотворении «Предсмертная просьба»:

Когда моя угаснет жизнь.  
Задует смерть свечу.  
Рукою нежной прикоснись  
Ты к моему плечу.

И прежде чем земле предать  
Мой прах под сень креста,  
Приди меня поцеловать  
В холодные уста.

В чужом гробу – ты не забудь —  
Лежит лишь тень моя.  
Душа в твою вселилась грудь,  
И я навек – твоя.

В таком удвоении, делающем земное исчезновение символом (и даже предпосылкой) более всеобъемлющего союза, еще раз обнаруживается аномальность завершения нашей любовной связи. Причем следует подчеркнуть: аномальность в сравнении с тем, что вытекает со всеми последствиями из буржуазного брака, и к чему я действительно еще не была готова, – и аномальность вследствие слишком раннего соприкосновения с проблемой Бога, что не одно и то же. Ибо благодаря этому любовные отношения с самого начала ориентировались не на обычное завершение, а через личность возлюбленного тяготели к почти религиозному символу.

Как в обычном, нормальном завершении любовных отношений четче проступают определенные черты самой нормы, так и во всякой любовной истории происходит то же самое, когда партнер любви, не становясь сразу же объектом обожествления, как в моем случае, все же обретает почти мистическое значение и становится символом чудесного. Любить в полном смысле этого слова означает предъявлять друг другу самые дерзкие требования – от простого упоения неотразимостью до богатой многообразными нюансами страсти; оттого-то оказавшись «вне себя» от любви все же рассчитывают прийти «в себя» – как в угоду прочим требо-



ваниям, которые предъявляет жизнь, так и ради обязанностей, которые они берут на себя по отношению друг к другу. Что не мешает людям, «пораженным» такого рода любовным недугом, с огромной благодарностью вспоминать о сомнительных, осмеянных, раскритикованных рассудком ситуациях чрезмерных любовных восторгов, потому что они выдвигают безумные критерии и помогают хотя бы на время вырваться на свободу тому, что казалось нам таким необходимым и как бы само собой разумеющимся до того, как мы научились ориентироваться в реальной действительности. Человек, наделенный силой, которая заставляла нас верить и любить, остается в глубине нашей души царственной личностью, даже если он позже и становится врагом.

Поэтому при нормально протекающей любовной связи мы должны прощать друг другу чрезмерные ожидания, даже если при этом верность и неверность странным и непредвиденным образом становятся неразличимы. Когда сказочный прорыв к свободе идет рука об руку с огромными реальными требованиями к другому человеку, возлюбленный представляет собой всего лишь частичку реальности, побуждающую поэта к созданию художественного произведения, которое не имеет никакого отношения к использованию своего предмета в мире практики. Мы все в большей степени поэты, чем рассудительные люди; то, что в самом глубинном смысле делает нас поэтами, больше того, чем мы становимся в жизни; оно лежит в стороне от оценочных критериев, значительно глубже их, заключено в простой непреложности, благодаря которой мыслящее человечество выясняет отношения с тем, что служит ему несущей опорой и в чем ему следовало бы хорошенько разобраться.

В любви мы относимся друг к другу так, словно учимся плавать, держась за пробковый спасательный круг, и партнер кажется нам морем, в котором мы барахтаемся. Поэтому он дорог нам, как то место, где мы появились на свет, и в то же время смущает нас и сбивает с толку, как бесконечность. Мы, осознавшая себя и вследствие этого распавшаяся на части беспредельность, должны поддерживать друг друга в этом неустойчивом состоянии, должны доказывать друг другу, что мы единое целое, доказывать физически, телесно. Но это позитивное, материальное воплощение основополагающей слиянности, это вроде бы неопровержимое доказательство ее наличия – всего лишь громогласное утверждение, отнюдь не устраняющее замкнутости каждого в границах своей личности.

Поэтому именно в духовном и душевном любовном расточительстве мы можем стать жертвами странного обмана, оказаться в состоянии «бестелесного парения», как бы отлета от собственного тела; по той же самой причине случается и прямо противоположное: тело может получать удовлетворение и без душевных затрат, через посредство объекта, к которому оно не питает никакой другой привязанности. Поэтому и существует различие между властителем Эросом и соблазнительницей эротикой, между сексуальностью как общим местом и любовью как одержимостью, которой мы склонны придавать почти «мистический» характер, – в зависимости от того, совершается ли это с нашим простодушным телом, которому вовсе не обязательно отдавать себе отчет в банальности удовольствия, такого же, как при дыхании или насыщении, или же мы, маленькие люди, экстатически, всем своим существом празднуем тайну нашей изначальной слиянности с целокупностью бытия.

Подарок абсолютной эротической непротиворечивости достался только животным. Только они вместо любовных встреч и разлук, чреватых у людей конфликтами, имеют механизм регуляции, который естественным образом выражается в периодах течи и свободы. Неверность свойственна только нам, людям. За пределы нашей компетенции выходят только оплодотворение и материнство, в одинаковой мере присущие и естественному состоянию животного мира, и усложненным человеческим отношениям. (Мы вообще мало можем сказать о состоянии влюбленности, кроме того, что она нарушает привычное течение жизни, и это объясняется тем, что мы только «понимаем» суть наших привязанностей, продиктованных рассудком или чувственным желанием; но рассудком или жадой удовольствия, этими по-чело-

вечески мелкими сосудами, глубоко не зачерпнешь.) Именно так мы приходим к материнству. Здоровая телом женщина, далекая от вышеназванных проблем, соглашается дать жизнь другому существу даже в том случае, когда ее инстинктивное влечение не осознается как персонифицированное желание возродить в себе детство любимого человека. Без сомнения, невозможность испытать это отнимает право относить себя к полноценному женскому материалу. Я вспоминаю об удивлении одного человека, которому я в ходе подробных разговоров на сходную тему, уже в возрасте, призналась: «Вы знаете, что я так ни разу и не осмелилась произвести на свет ребенка?». При этом я уверена, что такая точка зрения сложилась у меня не в юности, а гораздо раньше, еще до того, как подобные вопросы встают перед нашим сознанием. О Господе Боге я узнала раньше, чем об аисте, детей давал Бог, и Он же их забирал к себе, когда они умирали, кто кроме Него содействовал бы их появлению на свет? Этим я отнюдь не хочу сказать, что полное глубокого значения исчезновение Бога могло привести к растерянности или даже гибели женщины-матери во мне. Нет, в моем случае такое утверждение ни о чем не говорит. Не надо только забывать, что «рождение» не может не менять своего значения в зависимости от того, появился ребенок на свет из ничего или из полноты бытия. Большинству людей освободиться от каких бы то ни было сомнений помогают – наряду с их личными чувствами и желаниями – общеупотребительные нормы, общепринятые ожидания; никто не может им запретить распространять вокруг ни к чему не обязывающий оптимизм, согласно которому в наших детях найдут желанное воплощение все наши иллюзии. Однако то, что потрясает в человеке как продукте творения, вытекает не из каких-то соображений, моральных или просто банальных, а из того обстоятельства, что оно, творение, вырвало нас из личностной сферы и вовлекло в тварную; что оно лишило нас права принимать собственные решения в самый творческий миг нашего бытия. Такая же неизбежная путаница происходит со всеми нашими делами, когда мы даем свое имя тому, что диктует нам наше поведение, поэтому то и другое очевиднее всего сталкивается там, где происходит то, что мы называем творческим актом (в любой области!). Ибо как бы честно и добросовестно ни делилась на двоих родительская ответственность за произведенное на свет существо, она уйдет, опрокинутая мощью происходящего – как глубинно свойственного нашему физическому складу, так одновременно и очень далекого от нас, не поддающегося воздействию, что невидимо надвигается на нас.

Ясно, отчего именно мать среди прочих верующих настойчивее других требовала через голову рожденного ею – беспрекословной веры: по крайней мере на этом пункте Бог должен был настоять. На всем земном шаре вряд ли найдется такая Мария, которая не хотела бы быть женой своего Иосифа – и в то же время непорочно зачать последнюю загадку бытия, которое избрало ее своим сосудом...

За пределами всего того, что связывает двух людей личностными или сексуальными узами, есть среди видов активности эроса еще один, самый глубокий, не поддающийся описанию подобно тем, для понимания которого достаточно легкого намека. Пожалуй, можно было бы рискнуть и описать его через аналогию с упомянутым выше. Представим себе пару, любовная связь которой направлена исключительно на то, чтобы дать жизнь новому человеческому существу, и перенесем эту связь с биологической сферы жизни на иную, духовную: тогда мы получим сходный образ удвоения личного, самоочевидного – и до исчезновения удаленного от обоих партнеров. Экстаз обоих будет направлен не друг на друга, а на третий объект – объект их страстного желания, который поднимается на поверхность из глубины их существа и, так сказать, становится видимым. Масштабом служит не то, чем в данный момент являются оба, а та основа, на которую они вместе опираются: она-то и делает возможным взаимный процесс зачатия.

Не имело бы смысла брать грех на душу и описывать это такими не совсем понятными словами, если бы тут не возникало почти неизбежной путаницы с тем, что обозначают хорошо известным словом «дружба», хотя и она, вместо физической близости, прибегает для укреп-

ления союза к чему-то третьему, лежащему в основе одинаковых склонностей – будь то склонности душевного, духовного или практического характера. Это отличается от того, о чем шла речь выше, не только как холмик отличается от горной вершины, тут различие иного свойства: как если бы двое не рожали детей, а усыновляли их; и совершенно неважно, что это поступок правильный, приносящий пользу обществу и радость приемным родителям. Чаще всего к дружбе примешивается увлеченность, о которой речь, в юношеские годы – в ту пору, когда настойчиво дают о себе знать и предъявляют претензии творческие задатки, и когда физиологическое созревание еще не привлекает к себе все внимание.

В редких случаях эта увлеченность не теряется со временем и достигает своего полного развития; это и есть то редкостное и прекрасное, чем наделил эрос людей. И состоит оно в том, что партнер выступает посредником и одновременно прозрачным образом того сильнейшего вожеления, которое переполняет нас самих. «Дружить» в этом смысле означает нечто почти беспримерное, способное преодолевать острейшие противоречия жизни: быть там, где оба соприкасаются с божественным, делить обоюдное одиночество, чтобы сделать его еще более глубоким, таким глубоким, когда в другом познаешь себя – причастного к сотворению человечества. Быть другом значит не давать другому каким бы то ни было образом избавиться от одиночества, более того – быть защитником друг от друга...

Моей первой большой любви в годы юности было, без сомнения, присуще кое-что из того важного и существенного, о чем я здесь пишу, поэтому я не убоялась облечь в слова свои мысли по этому поводу. В моей жизни оно тоже не получило полного воплощения. Поэтому, говоря о всех трех видах осуществившейся любви (в браке, в материнстве, в простом эротическом союзе), я должна признать, что не могу тягаться с теми, кому это так или иначе удалось. Но дело вовсе не в этом. Главное, чтобы в том, что мы пытались осуществить, была жизнь, пульсировала жизнь, чтобы мы с первого до последнего дня нашей жизни сохраняли творческую силу.

Ситуация тут примерно такая: кто запускает руку в цветущий розовый куст, у того рука будет полна цветов; но сколько бы их ни было, их все же значительно меньше, чем может дать куст. И все же их достаточно, чтобы ощутить всю полноту цветения. Но если мы не запускаем в куст руку только потому, что не в состоянии охватить его целиком, или если делаем вид, что у нас в руке все выросшие на нем розы, тогда он отцветет, не пробудив в нас переживаний...

Как справились с любовными и жизненными проблемами в те годы мои сверстницы, я знаю далеко не все. Ведь уже тогда я – не отдавая себе в этом отчета – относилась к этим проблемам не так, как они. Прежде всего, потому, вероятно, что «страхи и муки легкой печали» тех лет рано остались позади благодаря человеку, решающая встреча с которым помогла мне войти в жизнь, куда я взяла с собой скорее мальчишескую готовность к действию, чем женскую привязанность. Но не только поэтому. А еще и потому, что мои сверстницы в своем юном девичьем оптимизме рисовали вещи, о которых мечтали, в розовом свете, – главное для них было добиться исполнения желаемого. Я так не могла – или могла больше, чем они: у меня была некая изначальная опытность, которой наделили меня мои природные задатки. Под моими ногами была словно каменная непреложность, даже если им приходилось ступать на давно покрытую мхом, усеянную цветами почву. Быть может, я выразила это слишком однозначно, так как всегда с радостью и готовностью, без колебаний, принимала все то, что давала мне жизнь.

Ибо «жизнь» – это было нечто желанное, ожидаемое, воспринимаемое всеми фибрами души. Но в ней не было чего-то могущественного, властного, решающего, того, что предвещало бы возвышение. Скорее, в ней было нечто равное мне, находившееся в той же недоступной пониманию экзистенциальной ситуации, что и я... Когда и где кончается эрос?.. Разве не входит он в раздел «Переживание любви»? Через периоды счастья и невзгод, надежд и желаний весь пыл юности течет навстречу «жизни» – состояние души, не направленное на какой-то определенный объект, как и состояние влюбленности, оно тоже пытается выразить себя в

стихах. Самым примечательным в этом смысле стихотворением, написанным в Швейцарии, в Цюрихе, после расставания с русской родиной, и названным мной «Моление о жизни», я и хочу закончить эту главку.

Загадка-жизнь, ты мне мила.  
Любовью преданной подруги  
Люблю тебя. Ты мне дала  
И радость встреч, и боль разлуки.

И если ты меня лишишь  
Своей высокой благодати,  
С великим сожаленьем, жизнь,  
Я вырвусь из твоих объятий.

Я вся растворена в тебе.  
Твоим огнем воспламеняюсь,  
Твою в отчаянной борьбе  
Загадку разрешить пытаюсь.

Тысячелетья б жить! Мечтать!  
О, протяни мне, тайна, руки:  
Коль счастья мне не можешь дать —  
Не пожалей тоски и муки.

(Как-то я по памяти записала его для Ницше, он положил его на музыку, и стихотворение благодаря слегка удлиненной стопе звучало торжественнее.)

## Переживания в семье

Будучи самой младшей и единственной девочкой в семье, я настолько привыкла к чувству братского единения с лицами мужского пола, что с тех пор распространяла его на всех мужчин; когда бы, в юности или позже, ни встречались они на моем пути, мне всегда казалось, что в каждом скрывается брат. Но это было связано и с врожденными качествами моих пяти братьев, из которых особую роль сыграли трое, так как самому старшему и четвертому не суждено было дожить до старости. Хотя мое детство протекало в атмосфере фантастического одиночества, хотя все мои помыслы и желания складывались в противоборстве с семейными традициями и вызывали раздражение, хотя потом моя жизнь забросила меня за пределы родины и протекала вдали от родных, относилась я к братьям по-прежнему, более того, чем старше я становилась и чем дальше от них жила, тем выше ценила их человеческие качества. Позже, когда мне случалось сомневаться в себе, меня успокаивала мысль, что я с ними одного происхождения; в самом деле, в моей жизни не встречались мужчины, которые бы чистотой своих мыслей, своей мужественностью или душевной теплотой не воскрешали во мне образ моих братьев.

После смерти нашей девятидесятилетней матушки они выделили мне из наследства вдвое больше положенного, хотя двое были женаты и должны были содержать пятнадцать детей; на мой энергичный запрос касательно завещания мне ответили, что это не должно меня волновать: разве я не остаюсь на все времена их маленькой сестренкой? Старший – Александр, Саша, смесь энергичности и доброты – с давних пор был нам как второй отец, такой же неутомимый, готовый прийти на помощь даже малознакомым людям; при этом он обладал удивительным юмором и смеялся заразительным смехом, какого я ни у кого больше не слышала: его юмор был результатом взаимодействия очень трезвого и ясного ума и доброты характера, для которого готовность помочь была самым естественным делом. Когда я, уже в пятидесятилетнем возрасте, получила в Берлине телеграмму о его кончине, моим первым, эгоистическим чувством был испуг; «теперь я беззащитна». Второй – Роберт, Роба, удивительно элегантно танцевавший мазурку на наших зимних семейных балах, – был наделен разнообразными талантами и отличался повышенной чувствительностью; как и отец, он хотел стать военным, но по воле последнего ему пришлось избрать стезю инженера, на которой он потом и проявил себя. Точно так же царившие в семье патриархальные нравы вынудили третьего брата – Евгения, Женю, прямо-таки созданного для дипломатического поприща, – податься в медицину, но и тут он сумел добиться успеха. Хотя братья и были очень разными, но они имели одно общее качество – необыкновенную прилежность и абсолютную преданность делу. Третий брат доказал это, будучи детским врачом, он уже в отрочестве любил возиться с маленькими детьми; при этом по своей сути он и позже оставался человеком скрытным, тайным «дипломатом». Я вспоминаю, как в детстве он журил меня за мою откровенную задиристость и так меня этим раздражал, что однажды я запустила в него чашкой с горячим молоком, которое на меня же и вылилось и обожгло мне шею и плечи. Брат хотя и был таким же вспыльчивым, как и все мы, заметил с довольным видом: «Вот видишь, как бывает, когда поступаешь неправильно». Он умер сорокалетним от туберкулеза, но и годы спустя после его смерти мне многое открывалось в нем, в частности, почему он – длинный, тощий и совсем некрасивый, но тем не менее пользовавшийся у женщин сумасшедшим успехом, – так и не выбрал себе спутницу жизни. Иногда мне казалось, что в исходившем от него шарме был элемент демонизма. Это сочеталось в нем с отменным чувством юмора. Так, однажды он решил заменить меня на одном из наших балов. Прелестные локоны, обрамлявшие гладко выбритое лицо, тонкая талия, стянутая модным в ту пору корсетом, – и вот молодые незнакомые офицеры многократно отличают его в котильоне, полагая, что это и есть та девочка-подросток, которая сторонится людей. Мне чрезвычайно

нравились балльные туфли без каблуков, я с удовольствием носила их и не снимала после уроков танцев, чтобы скользить в них, словно по льду, по паркету большой залы; к этому меня склоняли и другие большие комнаты с высокими, как в церкви, потолками. Наша служебная квартира на Морской улице располагалась в здании генералитета, что на Мойке, и эта особенность помещений, возможность скользить в них были частью моих ежедневных радостей; вспоминая о том времени, я чаще всего вижу себя скользящей по паркету в полном одиночестве.

Старшие братья рано женились, своих жен они выбрали еще в то время, когда брали уроки танцев; страстно влюбленные мужья и любящие отцы, они стали очень счастливыми людьми, чье отношение к женам напоминало отношение нашего отца к матери; он, например, имел обыкновение вставать, когда она входила в комнату, и мы, дети, этому непроизвольно подражали. Впрочем, это не мешало ему проявлять свой вспыльчивый, бурный характер, который мы все от него унаследовали. При этом он отличался крайней доверчивостью и неподдельной искренностью; по этому поводу у нас был в ходу веселый анекдот. Наша Мушка – так мы звали маму – настойчиво уговаривала его быть осторожным с одним человеком, который будто бы пытался его очернить; в то же время она расхваливала дружеские чувства к нему другого человека. Отец тут же перепутал одного с другим. В молодости он не чурался радостей жизни, в тогдашнем блестящем Петербурге императора Николая I и Александра II он принадлежал к поколению Пушкина и Лермонтова, с последним, как офицер, был даже близко знаком. Однако, женившись на нашей маме, которая была на девятнадцать лет моложе, он подпал под влияние прибалтийского пастора Икена и стал глубоко религиозным человеком. Этот пастор привнес в суховатое морализаторство петербургских евангелических церквей дух пиетистского благочестия. Евангелическо-реформатские церкви – французская, немецкая и голландская – вкупе с лютеранской служили для семейств, не принадлежавших к греческо-католическому вероисповеданию, своеобразным оплотом веры, даже если в остальном они полностью ассимилировались в России; поэтому мой выход из церкви повлек за собой общественное осуждение, из-за которого особенно сильно переживала моя мать. Что же касается отца, умершего незадолго до этого события, то я точно знала, что он, хотя и глубоко скорбел по поводу того, что его дочь утратила веру в Бога, все же одобрил бы этот ее шаг (при том что отец был связан с немецкой реформатской церковью особенно тесными узами, так как именно он получил от императора разрешение на ее основание). Отец не любил распространяться на религиозные темы, и только когда мне после его смерти подарили Библию, бывшую в его личном пользовании, у меня благодаря многим аккуратно подчеркнутым местам открылись глаза на его истинное отношение к религии. Меня так поразили благоговение, смирение и по-детски простодушная вера в этом деятельном, мужественном, привыкшем отдавать приказания человеке, что я с тоской думала о том, как мало в свои шестнадцать лет я сумела в нем разглядеть.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.